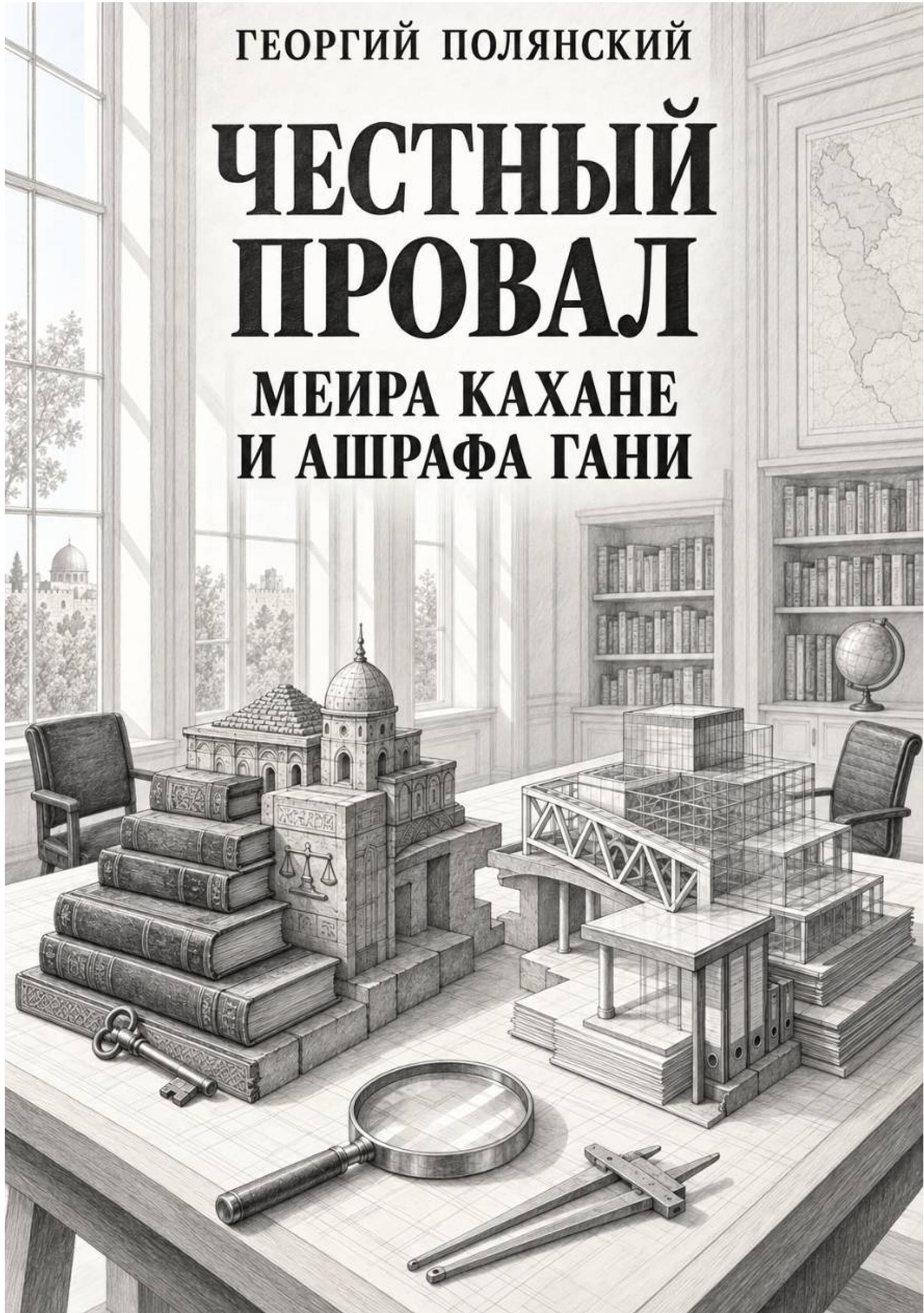


ГЕОРГИЙ ПОЛЯНСКИЙ

ЧЕСТНЫЙ ПРОВАЛ

МЕИРА КАХАНЕ
И АШРАФА ГАНИ



Георгий Полянский

**Честный провал Меира
Кахане и Ашрафа Гани**

«Автор»

2026

Полянский Г.

Честный провал Меира Кахане и Ашрафа Гани / Г. Полянский —
«Автор», 2026

Эта книга посвящена Меиру Кахане и Ашрафу Гани - двум политическим мыслителям, предложившим совершенно разные проекты переустройства общества и потерпевшим поражение в споре с действительностью. Книга исследует не только их идеи, но и устройство политического мышления: как личный опыт становится программой, как индивидуальные ценности проникают в объяснительную модель, претендующую на глобальность, и как желаемая цель начинает казаться выводом из традиции или истории, таковой не являясь. Книга может быть интересна читателям, которых занимают политическая философия, еврейская традиция, история Израиля и Афганистана, теория государства и механизмы человеческого мышления. Это не защита и не обвинительный акт, а попытка понять, что можно извлечь из двух серьёзных и искренних интеллектуальных поражений.

© Полянский Г., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Тридцать одна функция	5
Глава 2. Меир Кахане	14
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Георгий Полянский

Честный провал Меира Кахане и Ашрама Гани

Глава 1. Тридцать одна функция



В 1928 году в Ленинграде вышла «Морфология сказки» Владимира Проппа. Он взял сто русских волшебных сказок из собрания Александра Афанасьева и сопоставил действия их героев. Иван-царевич, солдат, купеческий сын и бедная падчерица отправлялись в разные места, встречали разных врагов и получали разные награды. Пропп обнаружил в этих историях повторяющиеся функции: отлучку, запрет, нарушение запрета, вредительство, отправку, испытание, получение волшебного средства, борьбу, возвращение, преследование, спасение, узнавание. Всего он насчитал тридцать одну функцию.

Функция — работа, которую действие выполняет в развитии сказки. Старуха дарит герою клубок, конь указывает дорогу, птица приносит перо: во всех трёх случаях герой получает средство для следующего испытания. Не всякая сказка содержит весь набор из тридцати одной функции. Некоторые отсутствуют, отдельные последовательности повторяются, но относительный порядок сохраняется: если есть запрет и его нарушение, нарушение не возникает прежде запрета. Разнообразие историй складывается из ограниченного репертуара действий.

Операцию Проппа, проведённую им над русскими сказками, я решил отчасти перенести на политический материал, но без цели научной стандартизации приёмов мышления, связанных с выработкой политической платформы. Политический мыслитель мне представляется более свободным, чем сказочник, просто он несёт большую ответственность. Когда политический мыслитель пишет о государстве, войне, справедливости, вере и истории, приводит примеры и спорит с разными людьми, он снова и снова совершает несколько узнаваемых движений. Во-первых, у мыслителя возникает метод, который можно узнать раньше, чем прочитан вывод. Во-вторых, в рассуждение входят ценности: не как случайные ошибки, а как основания, которыми автор смотрит на мир. В-третьих, он использует не все мыслимые способы связать

посылку с выводом, а небольшой рабочий репертуар. Как сказочник не изобретает заново саму возможность запрета, погони и испытания, мыслитель не изобретает в каждом абзаце новый способ доказать свою мысль — и уж наверняка он стремится всегда подогнать всё, что есть, под поставленную политическую цель.

В 1963 году статистики Фредерик Мостеллер и Дэвид Уоллес взяли за спор, который американские историки не могли разрешить полтора века. Восемьдесят пять статей «Федералиста», написанных в 1787-1788 годах в защиту новой Конституции США, вышли под общим именем Публий. Авторами были Александр Гамильтон, Джеймс Мэдисон и Джон Джей. Принадлежность двенадцати текстов оставалась спорной. Мостеллер и Уоллес исследовали языковые привычки авторов. Они считали слова, которые автор употребляет, не принимая отдельного решения о каждом случае. Один чаще пишет *while*, другой — *whilst*; один охотнее выбирает *upon*, другой почти обходится без него. По совокупности таких частот все двенадцать спорных статей были отнесены к Мэдисону.

В 2013 году похожий анализ помог проверить авторство детектива «Зов кукушки», изданного под именем Роберта Гэлбрейта. Такой статистический анализ языкового почерка называют стилometрией. Получив анонимную подсказку, редакция предложила исследователям сравнить текст с произведениями нескольких кандидатов; издатель затем подтвердил авторство Джоан Роулинг. Программа проверила конкретную версию. Оба случая показывают устойчивость языковых привычек, но сами по себе ничего не доказывают о методе мысли. Человек может одинаково расставлять служебные слова, защищая сегодня социализм, а завтра рынок. Два автора с разной прозой могут всякий раз начинать объяснение с одного вопроса: кому выгодно произошедшее?

Опыты Уильяма Чейза и Герберта Саймона с шахматистами показывают, как опыт меняет восприятие и запоминание. Сильный игрок после короткого взгляда гораздо лучше новичка воспроизводит позицию из настоящей партии. Но когда фигуры расставляли случайно, его преимущество резко уменьшалось. Гроссмейстер не фотографировал доску более вместительной памятью. Он узнавал осмысленные конфигурации: пешечную цепь, открытую линию, знакомую угрозу, положение короля. Несколько фигур сворачивались для него в один смысловой блок. Экспертиза вообще во многом состоит из такого свертывания. Автомеханик слышит в общем шуме отдельный ритм, врач соединяет несколько жалоб в синдром, опытный диспетчер видит не двадцать независимых отметок, а начинающийся сбой движения — и специалисту уже не нужно собирать каждое целое из отдельных деталей.

Томас Гоббс среди религиозных распрей и гражданской войны прежде всего видел взаимный страх и отсутствие общей силы. Карл Маркс в договоре, фабрике и парламентской речи искал отношения производства и классовый интерес. Фридрих Хайек спрашивал, где находится знание, необходимое для решения, и почему оно не помещается в одном центре. Джон Ролз предлагал смотреть на порядок глазами людей, которые заранее не знают своего места в нём. Каждый такой подход позволяет заметить определённые отношения, но оставляет другие менее изученными. Объяснение через классовый интерес может пропустить искреннюю религиозную жертву; внимание к рассеянному знанию — недооценить задачу общей инфраструктурной координации; мысленный договор — историческую привязанность; требование безопасности — цену послушания.

Метод обнаруживается в последовательности исследовательских решений: что считать единицей анализа, какое различие признать главным, какую причину искать, какое объяснение принять и что заставит его пересмотреть. Один автор рассматривает действия человека, другой — классы и учреждения. Один ищет виновника, другой продолжает разбирать стимулы, обязанности и ошибки. Метод определяет и предмет внимания, и момент, когда исследователь считает свою работу законченной. Маркс писал не только о классе, а Хайек не каждую стра-

ницу посвящал рассеянному знанию; повторяются прежде всего вопросы, которые они задают новому материалу.

Допустим, на фабрике произошел пожар. Инженер находит перегретый подшипник и неработавшее автоматическое отключение. Экономист замечает, что редкая авария обошлась владельцу дешевле постоянного обслуживания. Социолог труда выясняет: рабочие сообщали о запахе гари, но мастер боялся останавливать линию и передавал вверх благополучные отчеты. Политический философ спрашивает, почему опасность несли рабочие, а право определить допустимый риск принадлежало собственнику. Подшипник действительно мог перегреться, стимул — поощрять экономию, иерархия — задержать плохую новость, а риск — быть распределен несправедливо. Четыре метода не обязаны исключать друг друга. Но каждый выбирает свою точку входа, собирает собственную причинную цепь и раньше других замечает определенный вид свидетельств. Если этим исследователям дать новый случай, нельзя предсказать их ответы дословно. Можно предположить, какие вопросы они зададут первыми.

Филип Тетлок проверял политических экспертов не по красоте объяснений, а по прогнозам с определенным сроком. В его многолетнем исследовании участвовали 284 специалиста, сделавшие десятки тысяч предсказаний. Для описания стилей мышления Тетлок воспользовался образом Исая Берлина: еж знает одну большую вещь, лиса — много маленьких. «Ежи» охотнее подчиняли разные события одной общей теории. «Лисы» соединяли несколько моделей, чаще делали условные прогнозы и легче меняли оценку. В среднем лисы предсказывали лучше. Это не означает, что эксперт-еж бросал монету или не знал предмета. Результат зависел от вопроса и горизонта прогноза, а простое знание множества фактов не гарантировало точности. Цепкий метод помогал строить ясную картину, но затруднял признание случая, который в нее не помещался.

Без отбора существенного исследователь не начнёт работу: учесть одновременно все причины общественного события невозможно. Опасность возникает, когда он заранее объявляет несущественным всё, чего избранный метод не позволяет увидеть.

Автор способен учиться, переходить между жанрами и переживать интеллектуальные переломы. Ранний и поздний Витгенштейн не просто отвечают по-разному: они по-разному понимают, что считается философской проблемой. Проповедь, частное письмо и научный трактат могут включать у одного человека разные способы обоснования. Проверяема более осторожная версия: в большом корпусе текстов автора обычно обнаруживается неравномерное распределение внимания и приемов. Некоторые вопросы и переходы он воспроизводит заметно чаще других.

Вторая часть гипотезы начинается с абзаца в третьей книге «Трактата о человеческой природе», опубликованной Дэвидом Юмом в 1740 году. Юм заметил странный переход: автор долго говорит о том, что есть, а затем почти незаметно начинает говорить, что должно быть. Между описанием и обязанностью появляется новая связь, которую следовало бы объяснить. Представим городскую развязку. Расчеты показывают: она сократит среднее время поездки на двенадцать минут, но ради строительства придется снести сто домов. Все цифры могут быть точны. Решения в них нет. Чтобы перейти от таблицы к действию, нужно ответить, допустимо ли принудительное переселение, как сравнить распределенное между тысячами людей время с потерей дома для ста семей, какая компенсация меняет моральную оценку и чье согласие необходимо.

Фраза «развязка принесет больше общей пользы, следовательно, ее нужно строить» содержит мост: суммарный выигрыш имеет достаточный приоритет перед распределением потерь. Фраза «снос домов нарушает право, следовательно, строить нельзя» содержит другой мост: некоторые права нельзя обменять даже на большой совокупный выигрыш. Ни одна оценочная посылка не появляется из транспортного расчета.

В публичной речи такие мосты часто не произносят. Аудитория подставляет их сама. «Он бросил товарищей в опасности, значит, ему нельзя доверять». Между событием и выводом стоит правило: поступок обнаруживает устойчивое качество характера или позволяет предсказать новое предательство. «Правительство не справилось с наводнением, значит, потеряло право управлять». Здесь уже несколько скрытых посылок: защита от бедствия относится к главной обязанности власти; провал был достаточно тяжел; ответственность лежит на правительстве; техническая неспособность уничтожает политическую легитимность.

Когда мост не назван, вывод кажется выросшим непосредственно из события. На самом деле событие прошло через ценность. Из факта нельзя вывести окончательную иерархию целей, однако о ценностях можно спорить разумно. Их проверяют на внутреннюю согласованность, последствия, симметрию применения и способность выдержать обмен ролями. Человек, требующий безграничной свободы слова для своей стороны и запрета для противника, должен показать существенное различие или признать пристрастность правила. Точнее поэтому говорить о посылах, не определяемых одними эмпирическими данными. Они не измеряются как длина моста, но могут быть явными или скрытыми, последовательными или противоречивыми, общими или написанными под заранее известного победителя.

Макс Вебер различал ценностный приговор и ценностную значимость. Исследователь может запретить себе превращать кафедру в трибуну, аккуратно отделять установленный факт от политического желания и все же не избавиться от ценностей в выборе предмета. Из бесконечного числа событий он изучает некоторые потому, что считает их значимыми. История крепостного права и история дворянской усадьбы могут быть написаны без прямой лжи и все же по-разному распределять свет. Гуннар Мюрдаль довел эту трудность до методического требования: ценностные предпосылки социального исследования следует делать явными. Скрытая ценность получает власть факта; названная открыто становится доступной спору.

Ценность входит в рассуждение по меньшей мере в трех местах. Сначала она выбирает предмет внимания. Бедность можно описывать средним доходом, невозможностью пережить внезапный расход, зависимостью от работодателя, доступом к образованию или унижением при получении помощи. Затем ценность участвует в классификации. Забастовка становится либо срывом общественной услуги, либо защитой достоинства труда, либо использованием монопольной силы, либо осуществлением гражданского права. Наконец, ценность устанавливает порог решения: какой риск считать достаточно малым, какой ущерб — недопустимым, какое право нельзя обменять на выгоду. Поэтому политическая философия часто прячется в существительных. «Мятеж» и «восстание» могут указывать на одно вооруженное выступление, но первое слово уже помещает участников под нарушенный порядок, второе — под борьбу с порядком. «Шпион» и «разведчик» выполняют сходную работу для разных сторон. «Налоговое бремя» заранее подсказывает, что налог следует облегчать. Название не просто окрашивает предмет — оно выбирает правило, под которое предмет попадет.

Когнитивная психология показывает, что оценка способна возникать раньше развернутого обоснования. В исследованиях Джонатана Хайдта и его коллег испытуемым предлагали истории о нарушениях табу, специально описанные как добровольные и не повлекшие вреда. Некоторые участники уверенно осуждали поступок, а затем затруднялись назвать причину, не исключенную условиями задачи. Возникало «моральное остоленение»: вердикт сохранялся после исчерпания доступных объяснений. Этот результат нельзя превращать в доказательство, будто моральное рассуждение всегда является адвокатом уже вынесенного приговора. Участники могли не поверить в полную безвредность истории, видеть риск, не помещенный экспериментатором в текст, или опираться на правило, которое не считают зависящим от последствий. Но опыт обнаруживает реальную возможность: человек иногда сначала знает, что «так нельзя», и лишь затем пытается восстановить послышки собственного знания.

В эксперименте Дэна Кахана и его коллег испытуемые оценивали таблицу результатов. В одном варианте речь шла о креме от сыпи, в другом те же числа описывали влияние запрета на ношение оружия на преступность. Задача требовала сравнить пропорции, а не абсолютные величины. В политическом варианте ответы сильнее расходились по групповым установкам. Высокая числовая грамотность не устраняла поляризацию, а в некоторых условиях делала расхождение заметнее. Это сильный результат конкретного опыта, но не лицензия объявить всякое несогласие мотивированным самообманом. Человек может прийти к разным выводам из-за разных исходных вероятностей, недоверия к источнику или различий в модели причинности. Такие случаи трудно отделить от желания защитить свою сторону. Надежнее говорить о наблюдаемой асимметрии: дружественный вывод и враждебный вывод получают неодинаковое количество попыток на спасение.

Ценности входят даже в прикладную науку, когда нужно решить, какого риска ошибки достаточно для действия. Новое вещество можно ошибочно признать опасным и лишиться полезного продукта. Его можно ошибочно признать безопасным и причинить людям вред. Данные помогают оценить вероятность токсичности, но не определяют, какой риск общество обязано принять. Здесь проходит граница, которую в философии науки обсуждают как проблему индуктивного риска. Тяжесть возможной болезни не увеличивает вероятность того, что вещество действительно токсично. Она объясняет, почему для разрешения применения требуется более надежная проверка. Ценность меняет порог практического решения, а не содержание измерения. Если спутать эти два движения, осторожность превращается в фабрику желаемых фактов.

Кроме нравственных и политических ценностей существуют эпистемические — представления о том, каким должно быть хорошее знание: точным, непротиворечивым, простым, широким по охвату, способным делать новые предсказания. Они тоже направляют выбор между теориями, причем могут конфликтовать друг с другом. Карта метро полезна именно потому, что выбрасывает форму улиц, высоту домов и настоящий изгиб тоннелей. Для выбора маршрута такая простота является достоинством. Для расчета подземных работ та же карта опасно бедна. Покидая политику, исследователь не выходит из мира ценностей, а меняет их вид.

Третья часть исходной гипотезы утверждает, что способов переходить от основания к выводу не бесконечно много. В традиционной категорической силлогистике, выросшей из работ Аристотеля и позднее получившей четвертую фигуру, счет действительно возможен. Она работает с четырьмя видами фраз: «все А являются Б», «ни одно А не является Б», «некоторые А являются Б» и «некоторые А не являются Б». Силлогизм содержит две посылки и вывод. Для каждой из трех строк можно выбрать одну из четырех форм, а общий для посылок термин можно расположить четырьмя способами. Так возникают 256 комбинаций. Традиция признавала правильными 24, причем часть зависит от допущения, что названный класс не пуст. Из фразы «все единороги белые» нельзя заключить, что некоторые белые существа являются единорогами, пока существование единорогов не установлено отдельно. В современной реконструкции, не позволяющей молча населять пустые классы, остается 15 безусловно действительных форм. Эти числа точны внутри выбранной логической игры, как число допустимых ходов шахматной фигуры. Они ничего не сообщают о количестве способов рассуждать в истории, политике или повседневной жизни.

Политический автор объясняет причины, выбирает между объяснениями, переносит отношения по аналогии, ссылается на свидетельство и предлагает средство ради цели. Называть все эти действия силлогизмами значило бы утратить различия между ними. Теория аргументации описывает их как аргументационные схемы — повторяющиеся способы связать основания с выводом. Каждая схема указывает и на вопросы, от которых зависит надёжность

вывода. При ссылке на специалиста нужно установить его компетентность в данном вопросе, независимость и точный смысл сказанного.

В справочнике Дугласа Уолтона, Кристофера Рида и Фабрицио Макагно собрано 96 схем. Другие каталоги дают иные числа, в том числе из-за различий в масштабе: свидетельство эксперта, очевидца, традиции и большинства можно считать четырьмя схемами или разновидностями ссылки на источник. Поэтому исследовать личный репертуар мыслителя следует по тому, какие семейства переходов он использует чаще и какую работу поручает каждому.

Первое семейство — правило и классификация. «Всякая власть без сменяемости склонна к злоупотреблению; здесь сменяемости нет; следовательно, риск велик». Спор сосредоточен не только в правиле. Нужно установить, действительно ли случай относится к названному классу и одинаково ли правило работает для армии, монастыря, компании и государства. Второе семейство — причинное объяснение и вывод к лучшему объяснению. После введения платы движение по дороге уменьшилось. Возможно, водители пересели на общественный транспорт. Но тот же результат мог дать ремонт, удаленная работа или сезон отпусков. Если утром на полу вода, окно открыто, а ночью шел дождь, дождь является хорошим объяснением, но не логически неизбежным: могла лопнуть труба. В политике причины решений часто не наблюдаются прямо, поэтому правдоподобное объяснение легко принять за установленное.

Третье семейство — аналогия и обобщение. Цифровую платформу сравнивают с железной дорогой: единый протокол, как единая колея, уменьшает стоимость совместного движения. Аналогия помогает перенести структуру, но вместе с ней может незаметно перенести чужие свойства. Несколько неудачных государственных предприятий превращаются в вывод о неспособности государства управлять производством; несколько хищнических приватизаций — в вывод о бесполезности частного собственника. Обобщение зависит от того, какие случаи попали в рассказ и какие остались за дверью. Четвертое семейство — авторитет и практический вывод. Инженер говорит, что плотина опасна; вопрос относится к его области; поэтому предупреждение заслуживает повышенного доверия. Схема разумна, пока проверены компетентность, независимость, точный смысл слов и мнение других специалистов. Практическое рассуждение идет от цели к средству: нужно уменьшить смертность на дорогах; ограничение скорости снижает тяжесть столкновений; значит, скорость следует ограничить. В него входят причинная посылка и ценностное решение о цене времени, удобства и риска.

Рядом находится дилемма и «скользкий склон»: если уступить одно полномочие, последует второе, затем система утратит управление. Иногда это точное описание положительной обратной связи, при которой каждый шаг создает условия для следующего: уступка меняет стимулы, новые стимулы вызывают следующее требование, а отказ становится дороже. Иногда между ступенями нет такого механизма, и последовательность держится только на тревожной интонации. Один автор способен пользоваться всеми этими ходами, но несущими оказываются лишь некоторые. Один прежде всего применяет правило к новому случаю, другой ищет скрытого выгодополучателя, третий мыслит аналогиями, четвертый строит функциональные цепи: без способности нет устойчивого результата. Интеллектуальный почерк обнаруживается не в наличии приема, а в его частоте, положении и доверии, которое автор ему выдает.

Способ вывода нужно отличать от способа изложения. Один причинный аргумент можно передать таблицей, историей одной семьи, схемой потоков или мысленным экспериментом. Два автора могут рассказывать одинаково драматичные истории, но один использует судьбу героя как пример общего закона, а второй — как исключение, разрушающее закон. Генеалогия показывает происхождение привычного понятия. Идеальный тип создает намеренно чистую модель для сравнения с перемешанной действительностью. Мысленный эксперимент меняет одно условие и просит проследить результат. Историческая сцена дает читателю построить модель, которую формула не удерживала в памяти. Эти формы тоже образуют авторский репертуар, но карта повествования и карта доказательства должны оставаться разными. Красивый

рассказ способен сделать вывод памятным, не добавив ему надежности. И все же рассказ не пустое украшение: иногда без него читатель вообще не видит связи, которую предстоит проверить.

Здесь снова появляется Пропп. Он не доказывал, что существует тридцать одна функция всякого человеческого повествования. Он предложил разметку определенного корпуса волшебных сказок. Ценность работы заключалась в операции: отложить имена и декорации, выделить повторяемые действия, затем проверить их порядок на множестве текстов. Хейден Уайт в «Метаистории» совершил похожий ход по отношению к историкам и философам истории XIX века. Он различал тропы, способы построения сюжета, стратегии объяснения и идеологические следствия. Прошлое можно было организовать как роман, трагедию, комедию или сатиру; объяснить через разные представления о причинности и целом. Уайт показывал, что историк не получает готовый рассказ из архива. Он выбирает форму, в которой события становятся осмысленной историей.

Классификации Уайта спорны, один текст способен соединять несколько способов повествования. Для нашего вопроса существенно, что одни и те же известные события допускают разную устойчивую организацию, от которой меняется смысл объяснения.

Альберт Хиршман в «Риторике реакции» исследовал полемику против крупных реформ. Он обнаружил три повторяющихся тезиса. Тезис извращения: реформа произведет результат, обратный цели. Тезис тщетности: реформа ничего существенного не изменит. Тезис угрозы: новое приобретение погубит уже достигнутое. Затем Хиршман указал на зеркальные привычки прогрессистов: уверенность, что история движется в нужную сторону, что бездействие невозможно и промедление губительно. Эти три семейства не являются полным каталогом консервативной мысли и не превращают всякое предупреждение о последствиях в риторический трюк. Реформа действительно может навредить, оказаться бессильной или уничтожить ценное. Сила Хиршмана в другом: он научил замечать, что разные авторы воспроизводят одну архитектуру аргумента и переживают очередное ее применение как совершенно новый вывод.

Чтобы превратить такое наблюдение в проверяемое исследование, недостаточно собрать яркие цитаты. Нужен корпус — специально собранная серия текстов автора из разных лет, жанров и предметных областей. В каждом тексте следует отделить выводы от оснований, восстановить пропущенные послышки, разметить типы причинных, аналогических, практических и нормативных переходов. Цитируемого оппонента нельзя записывать в метод самого автора. Одинаковое слово нельзя автоматически считать одинаковым логическим действием. Разметку должны независимо повторить несколько читателей, иначе исследователь найдет в чужом корпусе собственный любимый способ думать. Такая проверка должна включать и незнакомую исследователю часть материала. Если по ранним текстам мы утверждаем, что автор при новом конфликте сначала спросит о классификации события, а затем перенесет на него готовую норму, поздний текст способен подтвердить или опровергнуть ожидание.

В таком исследовании «ограниченный репертуар» означал бы небольшой и неравномерный набор операций, объясняющий значительную часть переходов автора и позволяющий предсказывать его следующий ход. Это условие строгой проверки гипотезы; само обнаружение повторяющихся приёмов его ещё не выполняет.

Почему такой репертуар сужается? Ограничение рабочей памяти дает только часть ответа. По оценкам Нельсона Коуэна, в фокусе внимания человек обычно удерживает около четырех смысловых блоков, хотя число зависит от задачи и от того, что считается одним блоком. Письмо, схема, формула и долговременная память позволяют строить конструкции гораздо сложнее четырех элементов. Поэтому из предела памяти нельзя вывести число аргументационных схем.

Но предел объясняет цену сложности. Теория мысленных моделей Филипа Джонсона-Лэрда предполагает: рассуждая, человек строит представления о возможных состояниях

дел. Если первая модель поддерживает вывод, а опровержение обнаруживается только во второй или третьей, ошибка становится вероятнее. Возьмем две фразы: «некоторые министры являются экономистами» и «все экономисты читают статистику». В уме легко возникает министр-экономист со статистическим отчетом. Эта картинка поддерживает верный вывод: некоторые министры читают статистику. Но она может подтолкнуть и к неверному: все министры читают статистику. Чтобы остановиться, нужно построить вторую допустимую картину — министра, который экономистом не является и статистику не читает. В политическом вопросе таких групп, исключений, временных горизонтов и обратных связей гораздо больше, поэтому рассуждение быстро превышает объем картины, удерживаемой без бумаги, схемы или собеседника.

Вторая причина — обучение. Удачный ход закрепляется. Если объяснение через стимулы несколько раз обнаружило скрытый механизм, исследователь начинает пробовать его раньше других. Это разумная экономия, но успех оставляет привычку и после того, как предмет изменился. Третья причина — аудитория. Публичный аргумент должен помещаться во внимание слушателя и опираться на то, чему среда уже разрешила нести доказательный вес. В одной аудитории особенно весом прецедент, в другой — священный текст, в третьей — число исследования, в четвертой — личное свидетельство. Автор учится не только думать, но и быть понятым определенной группой.

Четвертая причина — идентичность. Люди чаще ищут слабое место в выводе противника и обходятся меньшим числом проверок для вывода своей стороны. Это не всегда сознательная подтасовка. У них могут различаться доверие к источникам и исходные ожидания. Наблюдаемый результат все же остается: близкий аргумент получает больше возможностей на исправление, чужой быстрее признается разрушенным.

Метод, память, ценности и групповая среда не являются одним доказанным механизмом мозга, но способны соединиться в петлю. Ценность направляет внимание. Найденный ход дает успешное объяснение и социальное признание. Повтор превращает его в готовый смысловой блок, который срабатывает все быстрее и раньше замечает согласующиеся случаи. Предположим, автор однажды точно показал, как реформа принесла результат, обратный обещанному. С тех пор при обсуждении следующей реформы он прежде ищет скрытый вред. Несколько новых попаданий укрепляют репутацию метода, читатели ждут от автора именно такого разоблачения, а случаи успешной перестройки кажутся менее интересными и реже попадают в текст. То, что началось как удачный выбор объяснения, становится привычкой восприятия; привычка влияет на отбор материала, а отобранный материал поставляет ей новые подтверждения.

На этой базе будет построен дальнейший разбор двух авторов — Меира Кахане и Ашрафа Гани. Кто они, из каких исторических обстоятельств вышли и к кому обращались, станет предметом следующих двух глав. Пока достаточно одного предварительного определения. Оба в некотором смысле являются политологами: они рассуждают об устройстве власти, народа и государства. Оба являются гуманитарными мыслителями, потому что связывают институты с ценностями, историей и представлением о человеке. В этом же широком смысле они философы: каждый попытался превратить объяснение мира в позитивную программу для своего общества. «Позитивную» здесь означает не оптимистическую, а предписывающую — устанавливающую, что следует построить, изменить или восстановить.

Их мыслительные аппараты устроены по-разному. Кахане часто идет от священной нормы к классификации современного события. Источник устанавливает обязанность; настоящий случай относится к названной источником категории; следовательно, обязанность действует сейчас, несмотря на цену. Главный спор живет во второй посылке. Текст может быть подлинным, правило — реальным, а современный адрес нормы — выбранным толкователем. Гани чаще движется от отсутствующего результата к разорванной государственной функции. Устойчивый результат требует цепи способностей; одно или несколько звеньев отсутствуют

либо принадлежат внешнему исполнителю; следовательно, следует перестроить систему, а не повторно оплатить отдельный результат. Здесь уязвим переход от функции к политической конструкции. Человек, мешающий новой цепи, может быть коррупционером, но может одновременно удерживать коалицию, без которой формальная должность ничего не исполняет. Один автор преимущественно мыслит применением нормы, другой — восстановлением функции. Оба пользуются множеством аргументов, но их книги организуются вокруг нескольких несущих переходов, где возникают открытия, политические цели и характерные ошибки.

Пока же вернёмся к описанию методов мыслительного процесса — для анализа указанных двух героев это важно хотя бы по той причине, что, в отличие от обычных машин анализа по критике мыслей оппонентов, в текущей работе никто ни с кем не спорит. Меня не беспокоит, какие логические ходы в каких мыслительных построениях были нарушены и где из А не следует Б или В, — во всяком случае, логика здесь точно не будет основой для выставления обвинений кому-либо из этих двоих. Но неявное утверждение ценностей, меняющих содержательную часть утверждений и их качество, меня беспокоит, и в этом смысле небольшое предисловие о том, что значит мыслить, является как минимум полезным, и как максимум убережёт читателя от поспешного возгласа, мол, какие оба — жалкие идиоты.

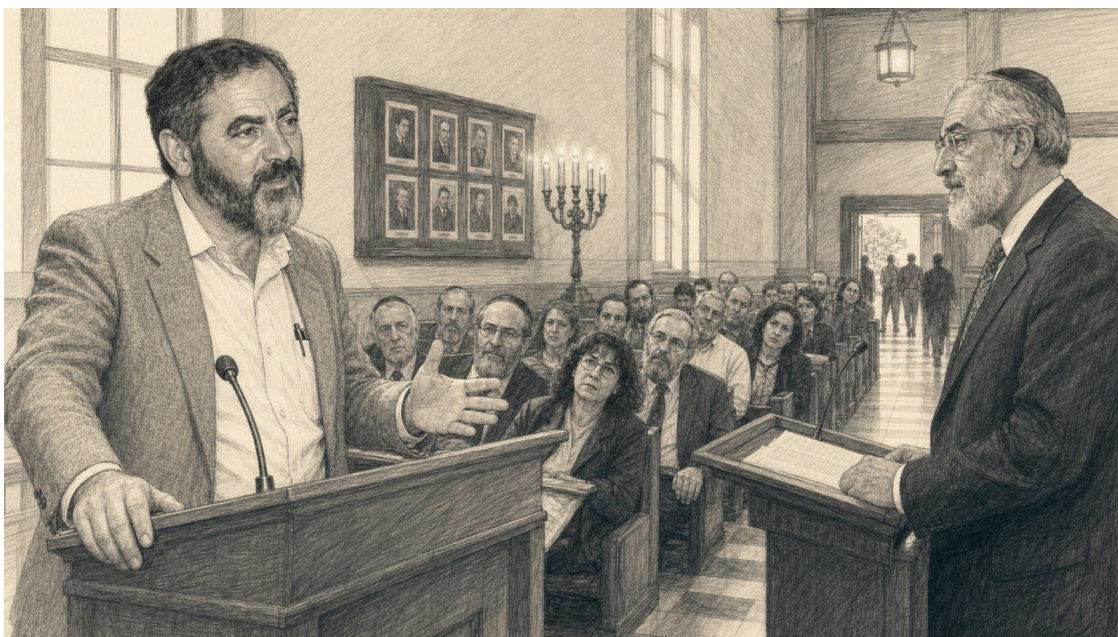
Итак, вернёмся к Проппу.

Конечность средств не означает бедности мысли. Тридцать три буквы не ограничивают число книг; из небольшого числа правил можно строить бесконечные доказательства и программы. Вильгельм фон Гумбольдт говорил о бесконечном употреблении конечных средств. Аргументационный ход, однако, уже направляет внимание. Вопрос «кому выгодно?» делает интерес заметнее долга или случайности. Тезис извращения заставляет прежде искать вредные последствия реформы. Функциональная схема обращает внимание на отсутствующее звено.

Устойчивый репертуар меняется вместе с практикой: автор сталкивается с повторным провалом привычного объяснения, осваивает другой жанр, учится замечать ранее пропущенное. Его метод связан с навыком, аудиторией и биографией, поэтому одного решения думать иначе для перемены недостаточно.

Работать с собственным методом можно, проверяя первое объяснение другим. Экономист спрашивает, что изменится, если люди не максимизируют денежную выгоду. Историк ищет случай, в котором привычная аналогия распадается. Религиозный толкователь отделяет обязательность текста от спорности его применения. Инженер обращается к оператору, знающему то, чего нет в чертеже. Несколько моделей позволяют проверить друг друга до выбора решения.

Глава 2. Меир Кахане



Зимой 1988 года в синагоге Hebrew Institute of Riverdale в Нью-Йорке спорили два ортодоксальных раввина. Оба родились в Бруклине с разницей меньше года, учились в Бруклинском колледже, знали друг друга с юности, были убежденными сионистами и не считали еврейское бессилие нравственным достоинством. Для обоих Холокост оставался не закрытой главой европейской истории, а событием, после которого еврейская мысль обязана была измениться. Одного звали Меир Кахане, другого — Ирвинг, или Иц, Гринберг.

Их спор касался не того, нужна ли евреям сила. Нужна, соглашались оба. Они расходились в вопросе, что сила разрешает и к чему обязывает. Кахане утверждал, что до мессианского времени Израиль должен прежде всего выжить. Мир, ради которого приходится рисковать безопасностью, казался ему повторением старой еврейской ошибки: снова довериться обещаниям тех, кто в решающий момент может отойти в сторону. Гринберг отвечал, что именно обладание силой создаёт новую нравственную ответственность. Государство должно защищаться, но его власть не подтверждает сама себя. Сильный может принять соразмерный риск ради мира, не возвращаясь к беспомощности.

Перед аудиторией спорили два религиозных сиониста. Общая память о Холокосте и необходимость защищать Израиль привели их к разным политическим выводам. Биография Кахане должна объяснить это расхождение, а не объявить его программой готовым следствием среды.

Личный опыт обладает настоящей силой. Человек, много лет живущий среди нападения, знает угрозу не так, как читатель новостей. Он знает, как меняется обычная дорога после убийства, как люди начинают различать безопасное и опасное время суток, что происходит дома в семье, когда кто-то задерживается, и как похороны входят в распорядок общины. Внешний наблюдатель может знать статистику и всё же не понимать цены, которую люди платят своим вниманием, привычками и страхом.

Но внутри политического спора право свидетельствовать иногда незаметно превращается в право предписывать. В одном частном разговоре человек объяснял мне свою позицию примерно так:

«Я с тобой пребываю в разных измерениях. Мои чувства, мысли и образ жизни выросли в поселении, где я много лет вёл хронику общинной жизни и хоронил друзей, убитых соседями.

Дорога до Иерусалима проходит вдоль арабских деревень и бывает опасна для жизни. Нам приходилось часто по ней ездить. Поэтому я никогда не соглашусь с твоими рассуждениями о нашей жизни и ты меня никогда не сможешь понять».

Но я не требовал согласия и не отрицал важности пережитого не мной. Я спросил, какому утверждению противопоставлены эти похороны. Следует ли из них, что человек, живущий далеко, не способен поставить содержательный вопрос? Следует ли, что евреи, которые тоже хоронили друзей, но пришли к другой политической позиции, знают о смерти меньше или просто по неизвестной никому причине пребывают в неведении? Исходный вопрос был узким: учитывает ли предлагаемая программа будущего Израиля интересы его арабских граждан?

Вместо собственного ответа собеседник прислал большую политическую книгу и предложил найти решение там. Когда я попросил сформулировать его позицию своими словами, он вернулся к границе между мирами: «Я живу в Иерусалиме, а ты живёшь в Москве. Моя правда для тебя неизбежно окажется ложью и оскорблением». Возникает вопрос: зачем тогда он прислал саму книгу? На семьсот страниц?

Понятно зачем. Чтобы разрешить возможное несогласие с его позицией указанием на труднодостижимый источник истины, в котором всё давно решено. И чем больше страниц в книге — тем больше поводов придаться, что ты что-то упустил и не выучил урок.

Здесь легко совершить обратную ошибку и объявить пережитое несущественным. Но оно существенно. Утрата подтверждает цену опасности и может обнажить беспечность человека, который ничем не рискует. Но она не содержит внутри себя готового ответа о правах граждан, допустимом насилии, границах государства и условиях мира. Между фразами «я знаю, что эта угроза реальна» и «поэтому государство обязано принять именно мою программу» находится переход, который ещё нужно обосновать.

Спор с далёким человеком является слабой проверкой этого перехода. Постороннего легко вывести за пределы разговора: он не жил здесь, не принадлежит к группе, не платил ту же цену. Позиция начинает казаться неопровержимой не потому, что её доказали, а потому, что возражающему отказали в праве на вопрос. Гораздо труднее спорить с тем, кто жил рядом, ездил по той же дороге, разделял религиозный язык, также терял близких и всё же выбрал другой путь. Этот путь не обязан быть зеркальной противоположностью. Один человек потребует отделения, другой — более сильной законной защиты, третий — переговорного механизма, четвёртый — нравственного ограничения власти. Иногда они по-разному отвечают не на один вопрос и решают разные задачи, возникшие из одного опыта.

В биографии Кахане можно проследить, как опыт общины, религиозное образование и политические конфликты вошли в его программу.

Меир Давид Кахане родился в Бруклине в 1932 году в семье ортодоксального раввина. Его отец был связан с ревизионистским сионизмом, направлением, восходившим к Владимиру Жаботинскому. Ревизионисты настаивали на необходимости еврейской политической силы, собственного государства и способности защищаться, не передавая безопасность народа на хранение чужому большинству. Из этого не следовала вся последующая программа Кахане. Само ревизионистское движение включало разные представления о государстве, праве и гражданстве. Но его язык делал некоторые вопросы особенно заметными: кто отвечает за безопасность евреев, что происходит, когда они зависят от чужой милости, и где проходит граница между осторожностью и бессилием.

Подростком Кахане вступил в «Бейтар», молодёжное ревизионистское движение. В конце 1940-х годов, когда британского министра иностранных дел Эрнеста Бевина обвиняли в том, что Великобритания закрывает Палестину для переживших Холокост евреев, юный Кахане участвовал в шумной акции протеста: Бевина забросали яйцами, помидорами и другими овощами, а Кахане арестовали. Источники расходятся в точной дате и деталях эпизода. Акция вынудила полицию вмешаться и привлекла внимание к молодому участнику.

Кахане рос в доме, куда европейская катастрофа входила через новости, общинную жизнь и семейные потери, и Холокост ещё не был музейным названием с установленным набором церемоний: убитые принадлежали к поколению родителей, а бездействие сильных государств оставалось недавним политическим опытом. Одновременно Кахане вырос в атмосфере холодной войны. Советский коммунизм представлялся не только внешней силой, но и системой, преследующей евреев и подавляющей религиозную жизнь. В его будущем словаре соединились два недоверия: к либеральному обещанию, что общество вовремя защитит меньшинство, и к государству, которое способно превратить еврея в объект управляемого исчезновения.

Он учился в иешиве «Мир», получил светское образование в Бруклинском колледже, занимался правом и международными отношениями. После раввинского посвящения в 1958 году Кахане возглавил Howard Beach Jewish Center в Куинсе. Синагога принадлежала к консервативному иудаизму. Здесь слово «консервативный» обозначает не политическую позицию, а религиозное течение, которое сохраняет традицию, но допускает более широкое изменение богослужения и общинного порядка, чем ортодоксия.

Кахане пришёл туда не тайным реформатором. Правление заранее приняло его условия: община должна была выйти из объединения консервативных синагог, вернуться к традиционному молитвенному чину, устроить мехицу, то есть перегородку между мужской и женской частями зала, и содержать кухню по правилам кашрута. На первых порах его энергия принесла заметный результат: число семей в общине выросло примерно с сорока до ста двадцати пяти. Но особенно сильно он воздействовал на подростков. Некоторые начинали строже соблюдать субботу и пищевые запреты, меняли поведение дома и требовали от родителей религиозной последовательности, которой прежде в семье не было.

Именно здесь спор о богослужении превратился в спор о власти. Кахане считал, что раввин обязан вести людей к норме, даже если привычки общины ей противоречат. Часть родителей увидела в этом не духовное руководство, а вмешательство в семью: его обвиняли в том, что он настраивает детей против родителей и превращает умеренную общину в ортодоксальную без согласия прихожан. На собрании, продолжавшемся до глубокой ночи, большое большинство проголосовало за его увольнение. Раскол оказался настолько глубоким, что после ухода Кахане синагогу покинула почти половина прихожан.

Кахане представил эту историю иначе: его изгнали за то, что он сделал детей соблюдающими евреями и принёс настоящую религию ассимилированной общине. Из такого рассказа исчезал вопрос, кто вправе менять жизнь другого человека и где проходит граница власти наставника. Оставалась более сильная и удобная конструкция: истина дала плоды, а испуганное большинство отвергло и её, и человека, который решился её произнести. Рассказ о конфликте привёл Кахане в газету, из которой вскоре выросла Jewish Press. Потеря кафедры закрыла одну форму авторитета, но газетная колонка открыла другую: здесь слушателя не требовалось удерживать внутри одной синагоги, его можно было собирать вокруг повторяющегося объяснения событий.

В начале 1960-х годов Кахане освоил ещё одну политическую технику. Под именем Майкл Кинг он выдавал себя за христианина, вошёл в ультраправое Общество Джона Бёрча и передавал сведения о нём ФБР. Условия этой работы описаны не вполне одинаково, но сам набор действий сомнений почти не вызывает: псевдоним, публичная роль, внедрение в организацию, наблюдение за тем, как группа создаёт собственный язык угрозы и верности. В этой работе наблюдение за политической организацией соединялось с участием в ней под чужим именем.

В 1968 году эти инструменты встретились с Нью-Йорком, переживавшим острый городской конфликт. В районе Оушен-Хилл — Браунсвилл чернокожие родители и активисты требовали передать местному сообществу больше власти над школами. Учительский профсоюз

сопротивлялся увольнению педагогов без привычной процедуры; среди учителей было много евреев. Спор о школьном управлении быстро вобрал расовое напряжение, взаимное недоверие и антисемитские высказывания. Одновременно в бедных кварталах распространялись сообщения о нападениях на пожилых евреев. Для части общины это выглядело как двойное отступление: городская власть не обеспечивает безопасность, а либеральные союзники требуют понимать социальные причины вражды именно в тот момент, когда жертве нужна защита.

Кахане основал Лигу защиты евреев. Она обещала немедленную вещь: если государство и крупные общинные организации отвечают слишком медленно, евреи будут охранять себя сами. Лозунг «Никогда больше» соединял городскую улицу с Холокостом. Нападение на старика переставало быть отдельным преступлением и становилось повторением исторической ситуации, в которой еврей надеется на чужую защиту. Патруль, демонстрация и физическая готовность ответить приобретали значение восстановления достоинства.

Диагноз Кахане касался реальных страхов. Антисемитизм не был выдуман, а осторожность крупных организаций действительно могла выглядеть как бездействие. Но Лига очень быстро вышла за пределы соседского патруля и публичного давления. С её деятельностью были связаны угрозы, нападения, взрывы и уголовные дела. Провокация стала для Кахане способом политической связи. Резкое действие вызывало осуждение; осуждение привлекало прессу; пресса доставляла его объяснение людям, которые прежде не знали ни о проблеме, ни о нём самом. Сторонник видел еврея, переставшего быть безответной жертвой. Противник видел организацию, присвоившую себе право на насилие. Обе реакции увеличивали известность Лиги.

Особенно ясно граница между опытом и выбранным методом видна в борьбе за советских евреев. Государственная дискриминация, ограничения религиозной жизни и отказ в выезде были действительностью. Кахане считал, что тихая дипломатия позволяет миру привыкнуть к этой действительности. Акции у советских учреждений должны были сделать привычную несправедливость скандалом, который невозможно убрать с первой полосы.

Однако Кахане не первым увидел проблему и не один связал её с уроком Холокоста. В апреле 1964 года Яков Бирнбаум собрал в Колумбийском университете студентов, из которых выросло движение Student Struggle for Soviet Jewry. Через несколько дней несколько сотен молодых людей уже стояли перед советским представительством. Бирнбаум тоже обращался к поколению, которое осуждало молчание перед уничтожением европейских евреев, использовал образ Исхода и требовал вывести американскую общину из пассивности. Но образцом для его организации стало движение за гражданские права. Студенческие собрания, массовые демонстрации, работа с отдельными историями советских евреев и широкие коалиции должны были изменить американскую политику без перехода к подпольному насилию.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.